Война с черного хода

Автор:
Юрий Нагибин

Война с черного хода

Юрий Маркович Нагибин

Моя война

Юрий Маркович Нагибин – писатель, журналист и сценарист, по киносценариям которого снято более 40 фильмов, в том числе вошедших в золотой фонд советской и российской кинематографии: «Председатель», «Пристань на том берегу», «Бабье царство», «Чайковский», «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!».

Осенью 1941 года Юрий Нагибин был призван в армию и отправлен на Волховский фронт в отдел политуправления, где в его обязанности входило ведение пропаганды против немцев на переднем крае. Часто это делалось под сильным огнем противника, в результате, Нагибин несколько раз был на волосок от смерти и получил тяжелую контузию.

Его военные воспоминания – откровенное произведение, в котором показана изнанка войны или «война с черного хода», как называл её Нагибин. Жизнь офицеров и солдат на переднем крае с их повседневными заботами, грязью, вшами, кровью и смертью описывается с горьким юмором, без пафоса и фальши, в лучших традициях русской литературы.

Юрий Маркович Нагибин

Война с черного хода

Война с черного хода

На Волховский фронт

Для меня, в моей судьбе, война делится на несколько периодов. От июня 1941-го до января 1942-го я тщетно пытался попасть на фронт. С января 1942-го до октября того же года служил на Волховском фронте, был инструктором-литератором газеты для войск противников «Soldaten-Front-Zeitung» с двумя кубарями, месяц провел на Воронежском фронте, куда меня перевели по закрытии немецких газет, затем изживал последствия двух контузий и в марте 1943-го вернулся на фронт уже в качестве военного корреспондента газеты «Труд» – до конца войны.

Может показаться странным, что мне так трудно было «устроиться» на фронт. Пошел бы добровольцем – и вся недолга. Ан нет. Когда ВГИК, где я учился на третьем курсе сценарного факультета, эвакуировался в Алма-Ату, я решил поступить в школу лейтенантов, объявление о наборе висело на дверях покинутого института.

В школе меня приняли на редкость тепло. Прощание было не менее сердечным: мне долго жали руку и настоятельно советовали закончить институт, благо у меня на руках студенческая отсрочка, получить диплом, а там видно будет. «Не торопитесь, на ваш век войны хватит», – загадочно сказал симпатичный капитан с полоской «за тяжелое ранение» на кителе. Имел ли он в виду затяжку Отечественной войны или какие-то будущие баталии, осталось неясным. Зато я понял другое. После первых приветствий мне предложили заполнить анкету. На этом все кончилось: сыну репрессированного по статье 58–10 не место в школе, готовящей средний командный состав. Говорили, что продолжительность жизни лейтенанта на фронте – одна неделя. Даже на одну неделю нельзя было подпустить меня к боевым действиям. В те патриархальные времена десять лет по политической статье давали при полном отсутствии вины. Отец получил еще меньше: семь лет лагеря и четыре поражения в правах, это могло считаться свидетельством высочайшей лояльности, примерной чистоты перед законом. Свой срок отец получил после того, как отпало обвинение в поджоге Бакшеевских торфоразработок, где он работал начальником планового отдела, –

он был в отпуске в Москве, когда загорелся торф. Для семилетнего заключения оказалось достаточным одной фразы: он корпел над квартальным отчетом в канун какого-то праздника, и к нему в кабинет вломились вешать портрет Кагановича. Через некоторое время пришли снова и поменяли портрет железного наркома на портрет Молотова. Отец не оценил чести и раздраженно сказал, что портретами квартальному отчету не поможешь. Эта острота, возможно, спасла мне жизнь, но тогда я не думал об этом.

Человек в юные годы на редкость законопослушный, я собирался эвакуироваться с институтом в Алма-Ату, но мама, кусая губы, сказала: «Не слишком ли далеко от тех мест, где решается судьба человечества?» И лишь тогда ударом в сердце открылось мне, где мое место…

Несколько потерпевший в своем патриотическом чувстве, я выбрал наипростейшее: пошел в Киевский райвоенкомат – по месту жительства. Там шло непрекращающееся переосвидетельствование мужчин призывного возраста, но меня не тревожили, и моя героическая инициатива вызвала раздражение. Военком стал кричать, почему я не эвакуировался с институтом. Я ответил словами матери.

– Выходит, государство учило вас, тратило средства – все зря?

– Почему же? Я вернусь и доучусь.

Он усмехнулся и вдруг спросил:

– Немецкий знаете?

– С детства.

– Говорить можете?

– Свободно.

– Идите на освидетельствование.

Мать честная, не иначе – в тыл врага!..

Покрутившись голым перед врачами, на более близкое знакомство с моим крепким в ту пору спортивным организмом они не посягали, я быстро прошел ушника, прочел самую мелкую нижнюю строчку в глазном кабинете, шустро дернул ногой, когда невропатолог стукнул меня молоточком под коленку, и без труда коснулся указательным пальцем носа с закрытыми глазами. После этого я хотел вернуться к военкому, но меня к нему не пустили, а велели ждать в коридоре. Я прислонился к стене и стал прокручивать в воображении романтические картины моего лихого будущего. Потом меня позвали в канцелярию, и прыщавый писарь сказал с добрым, чуть завистливым смешком:

– Играй песни, парень, освободили подчистую.

И вручил мне «белый билет». Я машинально взял его, машинально развернул: не годен по статье 8-а.

– Что это за статья?

– Психушная.

Пахнуло Швейком, но меня эта ассоциация не развеселила.

Я был здоров, как бык, теннисист, лыжник, значкист ГТО второй ступени. Никакой анкеты я не заполнял… Да в этом не было нужды, здесь имелось мое дело. Значит, я не годился даже в качестве пушечного мяса низшего сорта. Мое патриотическое чувство потерпело второй, нокаутирующий удар. Пусть мама подсказала мне то, что было естественным, хотя и необязательным, юношеским поступком, я пошел с открытой душой, но дорогая Родина дважды показала мне зад. Отныне я исключаю ее из своих душевных расчетов, но на фронт попасть должен любой ценой. Ради самого себя, моей собственной судьбы.

Я не могу жить с клеймом неполноценности, не хочу быть изгоем. У меня не было никаких планов, никаких возможностей, но какое-то злое чувство убеждало меня, что я непременно окажусь там, куда меня не пускают. Не пускают за то, что отцу помешали работать профкомовские бездельники, и он огрызнулся. Преступник века, мать их!.. Безобидная шутка сломала ему судьбу, теперь ломают жизнь мне.

У многих моих однокашников сидели отцы – наша школа находилась между домом командного состава Красной Армии на Чистых прудах и домами политкаторжан по Машкову переулку. В 1936–1938 годах эти дома были почти полностью очищены от взрослого мужского населения. Так вот, один наш парень пробился – в буквальном смысле слова – на фронт, желая искупить кровью вину отца. Его кровь ничего не искупила, ибо вины не было. Другой считал, что своей гибелью он докажет невиновность отца. Он погиб на Волховском фронте, но ничего никому не доказал: палачи и без того знали, что осудили невиновного; отец пережил сына и умер в лагере после войны.

К моему случаю оба посыла отношения не имеют. Я знал, что отец ни в чем не виноват, что он жертва омерзительного насилия, значит, ни о каком искуплении речи быть не могло. А доказывать его невиновность собственной жертвой – сама мысль была мне оскорбительна. Я просто ступил на предназначенный мне путь: не признавать ни за кем права на мою дискриминацию. Пусть сейчас мне отказали всего лишь в праве на гибель, это мое личное дело, я хочу сам распоряжаться своей жизнью. Но до чего же трогательно старалась наша власть уберечь детей «врагов народа» от фронта!

С юношеским романтизмом было покончено раз и навсегда. Мне надо попасть на фронт ради самоутверждения, кроме того, писатель не может прокладывать между собой и войной тысячи километров, наконец, мне пора выйти из-под слишком надежного, плотного материнского крыла, если я не хочу на всю жизнь остаться недорослем.

Я был согласен на любую войну, но та, которую я получил, оказалась самой неожиданной. По протекции друга нашей семьи Николая Николаевича Вильмонта меня призвали под знамена ГлавПУРа. Без всяких формальностей и анкет мне дали назначение инструктором-литератором в газету для войск противника только что созданного Волховского фронта. Навесили кубари, что произвело на меня чарующее впечатление, но обмундирование выдали почему-то солдатское с кирзовыми сапогами, правда, с кожаным ремнем и командирской дерматиновой сумкой. Ушанка с ярко-рыжим поддельным мехом наводила на тревожную мысль, что мне предназначена – по совместительству – роль движущейся мишени.

До этого мне устроили маленький экзамен: я должен был написать святочный рассказ для немецких солдат – дело было под сочельник. Я успешно справился с заданием. Хуже прошло немецкое собеседование, мой язык оценили на три с

плюсом. Видимо, сказалась растренированность.

Так или иначе я отправился на Волховский фронт с офицерским удостоверением и направлением в одном кармане, с паспортом и «белым билетом» в другом. Зачем я взял с собой свидетельство своего штатского позора? Мать сказала: если тебе окончательно осточертеет, пошли их всех подальше, они не имели права тебя брать. Это было дико, ибо впереди мне мерещилось святое фронтовое товарищество, я уже заранее всех и все там любил. Но и ослушаться материнского совета не мог.

Внутренне я готовился к другой войне, но выбирать не приходилось. Все-таки я еду на запад, а не на восток, к войне, а не от войны. Будь что будет…

На Волховском фронте я вел регулярные записи, похожие на дневник; на Воронежском, куда меня перевели по закрытии газет для войск противника, я марал бумагу по-иному: дневниковые записи вскоре заменил наметками будущих рассказов.

«Хреновый пятачок»

…Кажется, эта идея принадлежала самому Черняховскому, командующему нашей 60-й армией: предварить наступательный удар по воронежской группировке противника ударом по мозгам. Немцы, во всяком случае рядовой состав, ни черта не знают о сталинградском разгроме. Мы спрашивали пленных, они пожимали плечами и застенчиво улыбались: мол, врите, врите, наше дело подневольное.

Решено было использовать все радиосредства и обычные рупоры. На радиомашине работает постоянная команда, на остальную технику кинули жребий. Конечно, при моем везении мне достался рупор «из скоросшивателя». Это придумал Ильф: рупор сделан из тонкого канцелярского картона, а не из скоросшивателя, но разницы особой нет. Скоросшиватель – смешнее. «Хорош был старик Варламов с рупором из скоросшивателя» – из дневника Ильфа.

Раздали нам листочки с программой передачи: минут на десять. А с рупором от силы минуты три проболтаешь, потом каюк. Я сказал об этом начальнику 7-го отделения ПО Мельхиору. «Боитесь за свою драгоценную жизнь?» Я что-то пробормотал. А если серьезно: почему я должен терять свою единственную жизнь из-за чиновничьей дури? Можно подумать, что Мельхиору не терпится заткнуть ж… амбразуру. Только во втором эшелоне на это мало шансов, а на передний край его не тянет…

Немцы отпустили мне больше трех минут. Видать, заинтересовались, а потом дали из минометов. Я лежал в ничьей земле, в старой неглубокой бомбовой воронке, метрах в пятнадцати от наших блиндажей, ветер дул в немецкую сторону. После двух четких выстрелов я решил, что это вилка – ни черта в этом не понимаю – и сейчас они накроют меня. Рядом была другая воронка, я заметил ее, когда полз сюда, хотя темнота – глаз выколи.

Я перекатился в эту воронку, но осколком меня задело по каске. После я нашел на металле вмятину и царапину. А в тот момент ничего не понял. Был короткий противный визг, и каска повернулась на голове.

Очухался в блиндаже. Ребята вытащили меня из воронки, когда немцы перестали стрелять.

– Чем вы их так раздрочили, товарищ лейтенант? – спросил сержант, как две капли воды похожий на Вадима Козина: то же смуглое цыганское лицо, спелые глаза, бачки. – Никак утихомириться не могли.

В моей тяжелой башке шевельнулось: о Сталинграде почему-то молчат. И я ничего не знал до вчерашнего дня, и никто в отделе не знал, кроме Мельхиора, а ведь мы политработники. Почему из победы делают тайну? Или просто очередная липа, обман, чтобы ошеломить противника? Нет, чувствуется, что это правда. У Черняховского, когда он заглянул к нам в отдел, сияли глаза и раздувались ноздри, охота скорее в драку, завидует сталинградцам. Что-то неладно у меня с башкой. Но не настолько, чтобы проболтаться. Я сказал сержанту, что травил обычные байки, портил фрицам нервы.

Мне дали выпить разведенного спирта. Меня вырвало. Жрать я тоже не мог – мутило. Потом сержант спросил:

– Что это вы все подмаргиваете, товарищ лейтенант? И головой кидаете, как конь?

До его слов я ничего такого за собой не замечал, а тут заметил, но мне это не мешало. Вместо ответа я запел:

– «И кто его знает, чего он моргает, чего он моргает, чего он моргает!..»

Похоже, в отделе не знают, что со мной делать. Меня прислали на должность инструктора-литератора, но эта должность занята. Правит бал старший политрук Бровин, красивый, стройный, подтянутый парень, в котором Мельхиор души не чает. Он выпускник института иностранных языков и знает немецкий куда лучше меня. Голову даю на отсечение, что он был прислан сюда в качестве переводчика, но Мельхиор как-то переиграл его на инструктора-литератора. Это престижнее, и зарплата (денежное довольствие) на двести рублей выше. В ПУРе об этом перемещении не знали, поэтому и послали меня на вакантное место. Мое преимущество перед Бровиным: писатель, член СП, занимал ту же должность, но в Политуправлении фронта. Эфемерное преимущество. Мое «золотое перо» никому не нужно. Листовки тут выпускают редко, кустарным способом, очень локальные по содержанию. Бровин сочиняет их прямо по-немецки и сам размножает на ротаторе. Я этого не умею. Мельхиор долго не давал мне сделать листовку, боялся, что я забью Бровина. Но в конце концов рискнул и усадил меня в калошу. Брезгливо, двумя пальцами держа мою писанину, он ораторствовал на весь отдел: «Мы так не работаем. Бровин так не работает. Он обращается к нашим воронежским немцам, а не ко всей немецкой нации, и говорит на солдатском языке, а не на языке газетных передовиц. У вас набор высокопарных штампов, официальное пустословие. А у Бровина: „Милый Карл! К тебе обращается твой старый окопный друг Вилли Штрумф. Ты, наверное, думаешь, что я погиб. А я в плену, сижу и ем жирный мясной суп…“» – слезы помешали Мельхиору закончить чтение.

Я знаю этот стиль вранья, могу и посолонее пустить соплю, но думал, что поражу их риторикой. Я бездарно промахнулся, и Мельхиор прав, играя моими костями.

Смешав меня с грязью, Мельхиор милостиво предложил мне на другой день должность переводчика. Это было унизительно. Я десять месяцев на фронте, и мало того что не прибавил в звании, еще понижусь в должности на две ступени. Я не карьерист, но обидно. А крыть нечем. Я согласился.

Отработав так удачно диктором, я превратился в машинистку. Мельхиор спросил простодушно: «Вы, наверное, здорово печатаете на машинке?» Обрадованный, что хоть в чем-то могу показать свое умение, я сказал со скромной гордостью: «По-писательски: двумя пальцами, но быстро». И тут же прикусил язык. На кой ляд я снова высунулся со своим писательством, ведь это сразу напомнило Мельхиору, что Бровин узурпировал мое место. Он и правда притуманился, теплота ушла из голоса: «Мне надо, чтобы вы перепечатали протоколы опроса пленных. В четырех экземплярах. Страниц пятьдесят. За ночь справитесь?» «Думаю, что справлюсь. А почему не Ася?» Он жестко оборвал: «У Аси болит рука».

Это тоже была фаворитка Мельхиора: секретарь-машинистка нашего отдела, девятнадцатилетняя здоровенная, кровь с молоком, деваха. Она и в самом деле с утра жалостно кутала руку в шерстяной платок, что не мешало ей пить водку за обедом с Мельхиором, Бровиным и старшим инструктором Набойковым, а вечером обжиматься в сенях с рыжим замначем АХЧ Свербеевым.

Мое постоянное место – на кухне, вместе с диктором Костей и прикомандированным к отделу бойцом из выздоравливающих, хотя этот тюлень, по-моему, никогда ничем не болел, кроме лени. Мельхиор и его команда занимают чистую половину избы. Они там работают, гуляют и спят. У Мельхиора есть крошечный кабинет, выделенный из горницы, а у Аси – закуток, где она изредка, медленно и сбойчиво печатает на машинке.

Мой волховский ординарец Васька Шведов любил выражение «варфоломеевская ночь». Так называл он ночь любви, ночь газетного аврала, ночь кутежа с картами. У меня была варфоломеевская ночь. Я потянул короб не по силам. Особые хлопоты доставляли мне четыре экземпляра, хоть одну закладку я непременно путал. А хваленая моя скорость падала с каждым десятком страниц. От этого расходились нервы, я отплясывал пляску святого Витта на месте.

Под утро появился Мельхиор с красными кроличьими глазами, сильно на взводе и вручил мне плитку трофейного шоколада. Я поймал себя на мысли, что ненавижу его меньше, чем он того заслуживает. Эта толстая блядушка Ася разлагается за стенкой с начальством, а я, как-никак писатель, офицер политслужбы, тарабаню за нее на разболтанном «Ундервуде». И все-таки меня трогает преданность Мельхиора Бровину.

К девяти утра, усталый, обалделый, издерганный, я кончил эту никому не нужную работу и сдал ее Набойкову (Мельхиор спал), забрался на печь и уснул…

Я становлюсь необходим. Вчера Мельхиор дал мне новое боевое задание: съездить в Усмань за водкой. «Больше послать некого, – сказал он с тем проникающе добрым выражением, с каким говорит и делает гадости, – все при деле». Я мог бы спросить, при каком деле толстая Ася, повязавшая руку платком и пустившаяся в безудержный загул. По-моему, она обслуживает не только лидеров нашего отдела, но и агитпроп, отдел кадров и АХЧ. Если это считать делом, то она занята сверх головы. Да и вообще неудобно посылать за водкой девушку, к тому же с больной ручкой. Я мог бы спросить, при каком деле наш ленивый, разлопавшийся до того, что в штаны не влезает, выздоравливающий боец. Он топит по утрам печку и больше вообще ничего не делает, только жрет и курит. Но, очевидно, бойца нельзя посылать за водочным довольствием, да еще левым. Я мог бы спросить, чем занят аккуратный, всегда озабоченный, хмуроватый Набойков. Он начисто не знает немецкого языка, русского даром не расходует, особист он, что ли, тайный? Такого человека, конечно, за водкой не пошлешь. Я мог бы спросить, наконец, а что делает сам Мельхиор, кроме неустанного раздобывания в хозчасти ПО продуктов, спирта, бумаги, канцелярских принадлежностей, меховых жилетов, ватных штанов, ремней, настольных ламп и лампочек, но не пошлет же он самого себя за водкой. К сожалению, я не мог спросить, при каком деле находится Бровин, единственный реальный работник отдела: он то опрашивает пленных, то тачает листовки, то составляет бюллетени о моральном состоянии войск противника, то корпит над радиопередачами, материалы для которых присылает постоянно находящийся в частях инструктор Чижевский. Я не знаю, всегда ли так было, но сейчас Бровин работает за троих, что подчеркивает мою ненужность. Диктор Костя находится в командировке, на армейском жаргоне «убыл в часть».

Выходит, ехать, кроме меня, действительно некому. Но все равно противно. Если б они хоть раз пригласили меня к столу, поездка стала бы жестом компанейства, товарищества. А так – в чужом пиру похмелье. Я привезу водку, они там запрутся, будут пить, закусывать нахапанными Мельхиором в АХЧ американскими консервами и лапать Асю, а я – вертеться на узкой скамейке. Я плохо сплю не только из-за приглушенного галдежа за стеной, разладился сон. Какая-то тоска во мне, почти до слез.

Короче, поехал я в эту Усмань попутным грузовиком. Уже в городке, отыскивая какой-то хитрый склад, приметил базарчик и заглянул туда – варенца

захотелось. Деньги тут хождения не имели, но у меня в ушанку была воткнута отличная иголка с ниткой. За нее мне налили маленький граненый стаканчик розовой, с коричневой пенкой благодати. Я взял стаканчик двумя пальцами, поднес ко рту, и тут случилось непонятное: меня чем-то накрыло, сдавило, сплющило, я задохнулся и перестал быть.

Сознание вернулось испугом: что с варенцом? От него осталось зубристое донышко стакана, которое я продолжал сжимать большим и средним пальцами. Пережив гибель варенца, я разобрался и в остальном: я лежал в мешанине из снега и глины, вокруг – небольшая толпа. Рядом со мной бойцы стройотряда в изношенных ватных костюмах и башмаках с обмотками копали землю.

Мне помогли встать, отряхнуться. В толпе оказалась молоденькая санитарка с испуганным лицом. Она велела мне поднять руки, опустить, присесть, встать, пошагать на месте, повертеть головой.

– Порядок, товарищ лейтенант. До ста лет жить будете.

Оказывается, это сработал горбыль «дорнье» – медленный немецкий разведчик. Он часа два висел над городком, на него никто внимания не обращал. Зачем он скинул бомбу на этот жалкий базарчик – непонятно, тут и военных было – раз-два и обчелся. Никто не пострадал. Снесло пустой ларек, вышибло стекла в ближайших домах, пробило бидон у молочницы да меня засыпало землей. Рядом стройбатовцы тянули какую-то траншею, они и пришли на помощь.

– Ну, парень, ставь Богу свечку, с того света вернулся! – весело сказала тетка, у которой я выменял варенец.

Я думал, она вернет мне иголку, но ограничилось сочувствием.

– В могиле-то уж точно побывал! – подхватила другая, у которой варенец был в опрятных махотках.

Плеснуть малость ожившему покойнику ей в голову не пришло.

Я пошел своей дорогой, в левом ухе щекотно зуммерил комар.

Водки на складе не оказалось. Местные жулики сделали вид, что все они члены общества трезвости. Что-то у Мельхиора не сработало, или я не вызвал доверия.

Вечером я сидел в избе у печки и перечитывал – в сотый раз – верстку своей первой книжки. Вошел с улицы Мельхиор.

– Почему не доложили о выполнении задания? – оказывается, он не всегда добрый.

– Какого задания? – не слишком вежливо спросил я – верстка подняла во мне чувство самоуважения. – Вы о водке, что ли?

В его красноватых, будто исплаканных глазах была такая ярость, что мне показалось: сейчас ударит.

Но он резко отвернулся и прошел к себе.

Ночью со мной случилось странное происшествие. Мне захотелось, как говорили в старину, по малой нужде. Скворечник находится за огородом, лень было туда идти, да и темно, я пристроился рядом, за сараюшкой. Только двинулся назад, как сразу и больно наступил на какую-то железяку и начисто потерял и сараюшку, и дом, и всякое представление, где нахожусь. Никакого ориентира, земля и небо слились в сплошную черноту. Сунулся туда, сюда, набил шишек, а прохода нигде нет. Заблудился в двух шагах от избы. Сперва мне было смешно, а потом стало страшно. Я накинул шинель на спальную рубаху, босые ноги сунул в сапоги, а мороз был под десять градусов, так и замерзнуть недолго.

– Кто там? – раздался железный голос Набойкова.

– Это я. Заплутался.

– Что с вами происходит? – спросил Набойков. Я бы сам хотел это знать. Он нашел меня в темноте, взял за руку и привел в избу.

Я опять завшивел. А ведь всего неделю назад я был в поезде-бане и на мне шелковое белье. Есть правило: вши не водятся в шелковой ткани. Им, наверное, скользко. Жаль, что они не знают этого правила.

Весь наш отдел маленько почесывается, здесь сложно с мытьем. В деревне есть одна только действующая домашняя банька – для начальства. Конечно, приближенным дают попользоваться остывшей водой, остальным полная хана. Поезд-баня приходит на полустанок раз в месяц, все другие способы мытья никакого впечатления на вшей не производят. Как-то раз нам запретили ходить через сени – там мылась Ася над корытом, согрев себе воды в чугунке. И тем не менее я не раз замечал, как она скреблась толстой спиной о косяк.

Вчера опять ездил в знакомую часть дочитывать немцам сообщение о сталинградской «конфузии». «Вы слишком рано прервали сообщение», – без тени упрека, просто констатируя факт, сказал Мельхиор. Но откуда ему стало известно? Что еще он знает о соло на трубе из скоросшивателя? Его вечно простуженное лицо было непроницаемо. «Я успел сказать главное», – пробормотал я. «У вас будет радиоустановка, вы скажете текст до конца». Конечно, это не за водкой ездить, и все же… «Для диктора у меня недостаточно хорошее произношение». – «На переводчика вы тоже не тянете». – «Конечно. Я тяну на инструктора-литератора, меня сюда прислали на эту должность…» – «Вы не подчиняетесь приказу…» Вот чем хороша для многих армейская служба: не надо ломать голову над доказательствами.

…Почему-то я попал в тот самый блиндаж, что и предыдущий раз. Пока мы сюда добирались – мне дали в полку провожатого, – немцы все время вели пальбу: мины чиликали, пули рикошетили, будто дергали басовую струну, иногда деревянно стучал пулемет, рвались снаряды.

– Оживленный у вас участок, – сказал я провожатому.

– Хреновый пятачок, – боец плюнул.

Он сказал, конечно, не «хреновый», жестче.

– Почему «хреновый»? – я тоже сказал жестче.

– Потому что у нас самое хреновое место. Мы в низине, а фрицы на взлобке. И у них элеватор – все как на ладони. Лейтенант говорит: когда наступление будет, нас штрафниками заменят. Коли отсюда идти, Савур-могила черный гроб.

– А где этот элеватор?

– Близко. Сейчас не видать ни хрена. Торчит дуля, и никак ее не сшибить. И бомбили, и тяжелой били – как заговоренный.

В блиндаже меня встретили без особого восторга. Солдат наша деятельность раздражает. Они считают, что это пустая трата времени и сил, дешевая игра людей, которые не хотят воевать по-настоящему. Только на Волховском фронте – до моего инспекционного полета на бомбежку – хорошо относились к нашей продукции: листовкам и газете. Летчикам мешал докучный груз, и они сбрасывали всю контрпропаганду над нашими позициями. Бойцы использовали бумагу для самокруток и «козьих ножек». Они утверждали, что наша бумага лучше курится, чем бумага центральных газет или «Фронтовой правды».

Штатному диктору полагается боец-рупорист, но я не был штатным диктором, надо было самому вынести рупор в ничью землю. Заползать далеко нет нужды: радио достаточно горласто, чтобы фрицы услышали, но после ночного приключения я боялся заблудиться. А потеряться тут – это не то, что между избой и уборной. Потом я сообразил, что легко найду дорогу назад – по шнуру…

Сейчас немцы стреляли трассирующими пулями – для порядка, в никуда. Но стоило начать передачу, огонь оживился, а через минуты-две они лупили из всех калибров. Блиндаж здорово трясло. Все было, как в первый раз, стоило для этого ехать.

Что-то серьезное они подключили, земля посыпалась со стенок. Я, тем не менее, с армейской тупостью продолжал брусить никому не слышный текст. В блиндаж ворвался разъяренный комвзвода.

– Кончай свою фигню! – он выразился крепче. – Все равно они ни хрена не слышат.

– Уже кончаю… кончил, – сказал я, призвав, как положено, фрицев к сдаче в плен с посулом жирного супа, прекрасного обращения, интересной работы по специальности и скорейшего возвращения домой после нашей победы. Не жизнь у нас в плену, а масленица, вот бы нашим гражданам так!

– Что ты несешь, если их так раздражает? – спросил лейтенант.

– Что и всегда, – пожал я плечами.

– Не загинай! Что я, пальцем сделан? Фрицы хрен положили на вашу трепотню, а сейчас как с цепи сорвались. – Он иначе назвал то, с чего сорвались фрицы. – Знаешь, не ходи сюда больше. Ну тебя на хрен. И без тебя тут хреново, хреновей некуда.

– Вам же лучше: я расшатываю фрицам нервы.

– Ты нам расшатываешь нервы. А себе уже расшатал. Что ты рожи корчишь?

– Хочу тебе понравиться.

– Слушай, а ты не поехал малость? Какой-то у тебя глаз мутный.

– Ладно. Пойду за рупором.

– А чего за ним ходить? Сам придет, если что осталось.

Он сказал бойцам, и они подтянули за шнур искалеченный рупор.

Я не испытывал к нему такого отвращения, как к его собрату из скоросшивателя, но легко сдержал слезу при виде печальных останков.

Два дня меня не трогают. Если б не вши, я просто не знал бы, чем себя занять. А так скребешься и чешешься дома, потом бежишь в уборную и даешь этим гадам большое сражение. Главные их силы располагаются по резинке моих несравненных шелковых подштанников. Бьешь их до посинения от холода, в уборной дует из всех щелей, и, похоже, истребляешь всех до единой. Но через несколько часов опять чешешься, как шелудивый пес. И пиретрум их не берет, хотя я потратил весь мой немалый запас.

Сегодня я поймал себя на том, что привык к ним. Во всяком случае, они досаждают мне чисто физически, а не морально, что при моей брезгливости невероятно. На Волховском я психовал из-за каждой несчастной вши, а сейчас отношусь к ним со спокойствием эскимоса.

Я все время о чем-то думаю, но сам не могу понять толком о чем. Думаю, тревожусь, тоскую, но все как-то без четкого содержания. В башке мешаются воспаленные глаза, сопливый нос Мельхиора, Асина жирная спина, скребущаяся о косяк, пустое озабоченное лицо Набойкова, наш спящий на ходу боец – и все это исходит смрадом тревоги. А потом в башке теснятся московские виды: трамвай, бульвар, булыжник нашего темного переулка, обитая дерматином дверь, шарк знакомых шагов – и я начинаю глотать слюну – по старому совету еще школьных дней, – чтобы не разреветься.

Только этого не хватало. Через кухню то и дело шляются с озабоченным видом Мельхиор, Набойков, Ася. Их мнимая деловитость раздражает. Они тоже почесываются, но этим не исчерпывается их существование. Каждый служит своей темной, большой или малой, тайне. Я же только чешусь и жду чего-то недоброго. Что еще измыслит деятельный и праздный ум Мельхиора? Впрочем, почему праздный? Все, что он придумывает, весьма целеустремленно: хреновый пятачок, ундервудная ночь, усманская командировка – звенья одной цепи. Я перестал ходить в столовую, но не потому, что мне не хочется жрать. У меня такое чувство, что если я выйду из дома, то уже не вернусь назад. Куда я денусь? А черт его знает! Не найду своей избы, ее не окажется на старом месте. А и найду, меня не пустят, скажут, все места заняты.

А что такого плохого произошло? Диктором меня и на Волховском фронте не раз посылали, я даже с радиомашиной ездил под Спасскую Полнеть и Мету, и на пишущей машинке сколько раз печатал, когда были затруднения с машинисткой, правда, по своей инициативе. За водкой, правда, не ездил. Но дело не в водке, не в машинке, а в том, что за этим скрывается. А вдруг ничего не скрывается и я сам загоняю себя в бутылку? Все как-то образуется. Начнется наступление, повалят пленные – опросы, собеседования, бюллетени о настроении солдат и офицеров противника, работы будет навалом, Бровину одному не справиться. И неужели мне так важна должность инструктора-литератора? Должность у меня одна до конца дней: писатель, все остальное не стоит выеденного яйца. Чего я так развалился?

Не знаю. Меня преследует чувство, будто я чего-то забыл. Очень важное забыл, и если вспомню, то все будет в порядке. Я ищу это в ближней и дальней памяти, но никак не могу найти. И мне смертельно хочется домой, хоть на один день. Там я непременно вспомню, что меня мучит, и начну сначала. Пусть меня вернут сюда, все пойдет по-другому. Дело не в них, а во мне.

Вечером все куда-то ушли – с пакетами, сумками. Наверное, смычка с соседним отделом – агитпропом. Меня оставили дежурным. Боец сонными движениями подкинул в печку полено, другое и вдруг испарился.

Воспользовавшись одиночеством, я устроил вшивое аутодафе. Водил тлеющей лучиной по швам моего замечательного шелкового белья, прожег его в нескольких местах, но, как вскоре выяснилось, не истребил этого жизнестойкого племени. Торквемада из меня не получился, впрочем, и он, кажется, не смог извести всех еретиков, как ни старался.

Потом я долго пытался придумать что-нибудь смешное. Это моя старая игра, я много раз выдергивал себя таким образом из дурного настроения, грусти, даже отчаяния. Самое лучшее – вспомнить что-нибудь смешное про окружающих или самого себя и, утрируя, рассказать в уме кому-то из близких, понимающих юмор. Казалось бы, легче всего высмеять нашу юную толстую Мессалину с ее почесываниями о косяк, крайней нужностью во всех точках политдержавы армии, симуляцией, омовением в сенях в духе библейской Сусанны, но что-то у меня не срабатывало. И Мельхиор годился для моих целей – до чего же хорош алчный оскал снабженца на постной мине контрпропагандиста! Нет, не получается. Вспомнился клоун из «Артистов варьете», которого гениально играл Борис Тенин. Он никак не может рассмешить публику. В нем заложено что-то непоправимо печальное, и чего он ни придумывает, получается жутко, трагично, а не смешно. С удивительной, щемящей интонацией произносил он: «Не смешно!».

И вдруг я всхлипнул. Этого еще не хватало. Я легко плачу над страданиями книжных героев, а так из меня дубьем слезы не выжмешь. Совсем развалился.

Я дождался возвращения бойца и завалился спать. Наверное, мне следовало бодрствовать, пока не придет наша гулевая компания, но мне расхотелось сторожить их пьянство.

Ночью я проснулся оттого, что кто-то тряс меня за плечо. Открыл глаза – Набойков. Что-то часто я с ним сталкиваюсь.

– Вам плохо?

– Нет. А что случилось?

– Вы кричите, стонете, воете. Всех перебудили.

– Это во сне. Простите.

Утром все встало на свои места. Мельхиор пригласил меня в кабинет. Смотрел он с такой добротой, что у меня душа ушла в пятки.

– Вам нужно показаться врачу.

– Зачем?

– Вы не в порядке. Очевидно, вы не замечаете за собой, но со стороны это очень заметно.

– Что заметно?

– Вы дергаетесь, хмыкаете, разговариваете с самим собой, ночью кричите, плохо ориентируетесь.

– Мне это не мешает.

Доброту его как рукавом стерло.

– А окружающим мешает. У нас тут не госпиталь и не богадельня. Нам нужны полноценные работники. Я не знаю, что с вами. Надеюсь, ничего серьезного. Это решат врачи. До их заключения место остается за вами.

– А какое может быть заключение? Я здоров.

– Тем лучше. Вернетесь в отделение. Набойков вас проводит.

Набойков все время порывался нести мой рюкзак. Не знаю, какие ему даны были инструкции, возможно, он должен был проводить меня до Анны, где находились ПУ и фронтовой госпиталь, возможно, до Графской, откуда шел прямой поезд на Анну, но ни то, ни другое путешествие его не привлекало. Излишней услужливостью он компенсировал свое предательство. Ведь они-то считали меня

больным.

От разъезда до Графской должен был отправиться короткий состав из двух теплушек и нескольких платформ, груженных песком.

– Доберетесь? – бодро спросил Набойков.

– О чем разговор? – так же бодро отозвался я.

Мы обменялись крепчайшим мужским рукопожатием. Он даже хотел поцеловать меня, но в последний момент удержался. Зато не поскупился на прощальные бесценные советы. Я знал всему этому цену, но все же с некоторой печалью смотрел ему вслед.

Набойков избрал благую участь. Весь день протомился я на разъезде. Товарняк на Графскую пошел лишь вечером. В теплушку меня не пустили, и я проделал весь путь на открытой платформе…

На этом обрываются мои дневниковые записи. Обрываются надолго – на пять с лишним лет. Лишь в исходе сорок восьмого года заведу я себе новую тетрадь. Я не знаю, почему перестал записывать свою жизнь, да это и неважно. В оставшиеся мне воронежские дни я делал затеси, о которых упоминал выше.

Лесков говорил, что каждую вещь надо писать вдоль, а потом поперек. Затеси – это рассказы, написанные только вдоль. Я, правда, уже в московские дни пытался написать их и поперек, но по ряду причин не осуществил этого намерения до конца. Может быть, оно и к лучшему, сохранилась подлинность переживания, оно не стало литературным. До последнего времени мне оставалось непонятным, как мог я в своем тогдашнем состоянии корпеть над этими почти что рассказами. Куда естественнее было бы продолжать дневниковые записи или отложить возню с бумагой до лучших времен. И лишь недавно открылся мне довольно простой смысл моих литературных усилий: это было самоспасение. «И форму от бесформия мы лечим», – сказал поэт. Я бессознательно лечил свой распад, утрату душевной и физической формы попыткой создать литературную форму и тем самому собраться нацельно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/nagibin_yuriy/voyna-s-chernogo-hoda

надано
Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: Купити